

ВИКТОР ГЮГО

*ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
ПРИГОВОРЕННОГО К СМЕРТИ*



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

УДК 821.133.1-82
ББК 84(4Фра)я44
Г99

Серия «Эксклюзивная классика»

Серийное оформление *Е.Д. Фerez*
Компьютерный дизайн *А.А. Чаругиной*

Гюго, Виктор.
Г99 Последний день приговоренного к смерти : [сборник : перевод с французского] / Виктор Гюго. — Москва : Издательство АСТ, 2020. — 320 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-119534-2

В камере смертников ждет своего последнего дня человек, который прекрасно знает: больше надеяться ему не на что. Но пока что он еще живет. Мыслит. Чувствует. Вспоминает...

Виктор Гюго, активный противник смертной казни, пошел, ради высших целей, на литературную мистификацию — в 1829 году он опубликовал небольшую повесть «Последний день приговоренного к смерти» анонимно, под видом подлинного дневника осужденного к высшей мере наказания. Последовал сенсационный успех, а вслед за ним — стоило открыться имени автора — столь же небывалая травля Гюго в прессе...

Однако имена хулителей давно забыты, а повесть по-прежнему остается одним из самых сильных произведений в защиту неотъемлемого права человека (пусть даже преступника) на жизнь.

В сборник также входит пьеса «Рюи Блаз», относящаяся к «романтическому» периоду творчества Гюго.

УДК 821.133.1-82
ББК 84(4Фра)я44

ISBN 978-5-17-119534-2

© Перевод. Т.Л. Щепкина-
Куперник, наследники, 2019
© ООО «Издательство «АСТ», 2020

*ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
ПРИГОВОРЕННОГО К СМЕРТИ*

Объяснить происхождение этой книги можно двумя способами. Может быть, и в самом деле нашлась пачка листов, пожелтевших и неровных, на которых записывались одна за другою мысли несчастного, а может быть, и встретился человек: мечтатель, наблюдающий природу ради пользы искусства; философ; поэт, — вероятно, у которого эта мысль превратилась в каприз, в фантазию, который взял ее, или лучше сам отдался ей и не иначе мог отвязаться от нее, как бросив ее в книгу.

Пусть из этих двух объяснений читатель изберет, какое ему более понравится.

I

Бисетр

Приговорен к смерти!

Вот уже пять недель, что я живу с этой мыслью, всегда один с ней, всегда объятый холодом от ее присутствия, всегда согбенный под ее гнетом.

Когда-то — мне кажется, с тех пор прошли годы, а не недели, — я был человек как человек. Дни, часы, минуты имели свою определенную мысль; дух мой, молодой и богатый, был полон фантазий. Он любил развивать их передо мною без связи и без конца, рисуя неисчерпаемые арабески на грубой и тощей тка-

ни жизни. То были все молоденькие красавицы, блестящие епископские мантии, выигранные битвы, театры, залитые шумом и светом, а потом опять красавицы и темные прогулки ночью под широкими объятиями каштанов. Был всегда какой-то праздник в моем воображении; я мог думать о чем хотел, я был свободен.

Теперь я в неволе. Тело мое заковано в тюрьме; ум в плену у мысли, ужасной, жесткой, неумолимой мысли! Одна у меня только идея, одно убеждение, одна непреложная истина: приговорен к смерти!

Что бы я ни делал, она всегда тут, эта адская мысль, стоит около меня, как свинцовый призрак, одинокая, ревнивая, отгоняющая всякое развлечение, стоит лицом к лицу со мною, несчастным, и теребит меня ледяными руками, когда я захочу отвернуть голову или закрыть глаза. Она вкрадывается под разными видами всюду, где ум мой хотел бы ее избежать, примешивается, как ужасный припев, ко всем словам, с которыми ко мне обращаются, прилипает вместе со мною к отвратительным решеткам моего каземата, не отстает от меня, когда я бодрствую, стережет мой судорожный сон и снится мне в виде ножа.

Пробуждаюсь, вскакиваю, преследуемый ею и утешая себя, что это только сон! И что же? Еще мои отяжелевшие веки не успеют раскрыться настолько, чтоб увидеть эту роковую мысль, написанную на ужасной действительности, которая меня окружает, на грязных и вспотевших плитах пола, на бледном луче ночной лампы, на грубой ткани моего холщового халата, на темной фигуре часового, которого сумка блестит сквозь решетки каземата, — как уже мне чудится, какой-то голос шепчет мне на ухо: «Приговорен к смерти!»

II

Было прекрасное августовское утро.

Уже три дня как начался мой процесс; три дня как мое имя и преступление собирали каждое утро целые кучи зрителей, которые усаживались на скамьях присутственной залы, как коршуны около трупа; три дня как вся эта фантазмагория судей, свидетелей, адвокатов, королевских прокуроров сновала и проходила передо мною, то грубая, то кровожадная, всегда мрачная и роковая. Первые две ночи от беспокойства и страха я не смыкал глаз; третью спал от скуки и усталости. В полночь я оставил присяжных за обсуживанием моего преступления. Меня опять привели к соломе моего каземата, и я тут же заснул глубоким сном, сном забвения. Это были первые часы покоя после многих дней.

Я был еще погружен в самую глубь этого глубокого сна, когда меня разбудили. На этот раз — мало было тяжелой поступи и подкованных башмаков тюремщика, звяканья связки ключей, дикого скрежета замков, — чтоб разбудить меня из летаргии, понадобился его грубый голос над моим ухом и его жесткая рука на моем плече.

— Вставайте же!

Я открыл глаза и, испуганный, сел на койке. В эту минуту из узкого и высокого окна каземата я увидел на потолке соседнего коридора — единственном небе, которое я мог видеть, — тот желтый отблеск, в котором глаза, привыкшие к тюремному мраку, так хорошо умеют узнавать солнце. Я люблю солнце.

— Хорошая погода, — сказал я тюремщику.

С минуту он молчал, как будто недоумевая, стоит ли тратить на это слова, потом с некоторым усилием проворчал:

— Пожалуй, что и так.

Я неподвижно сидел на койке, полусонный, улыбающийся, и пристально смотрел на тихий золотой отблеск, озарявший потолок.

— Прекрасный день, — повторил я.

— Так-то-так оно так, — отвечал тюремщик, — а вас ждут.

Эти немногие слова, как нитка, останавливающая полет насекомого, насильственно отбросили меня в действительность. Я вдруг увидел, как в блеске молнии, мрачную залу асизов, подкову судей, обитую красною, как кровь, материей, три ряда свидетелей с бессмысленными лицами, двух жандармов с обоих концов моей скамьи и черные волнующиеся платья и головы толпы, кишашие в тени, и оставившиеся на мне пристальные взгляды двенадцати присяжных, которые бодрствовали, в то время как я спал.

Я встал. Зубы мои стучали, руки тряслись и не могли найти платья; в ногах была слабость. На первых же шагах я споткнулся, как через силу обремененный носильщик, однако побрел за тюремщиком.

Два жандарма ждали меня у порога моей кельи. На меня опять надели кандалы. В них был маленький мудреный замочек, который они тщательно заперли. Я не сопротивлялся. Они надевали машину на другую машину.

Мы прошли внутренний двор. Утренний воздух оживил меня. Я поднял голову. Небо было ясно, и теплые лучи солнца, разрезанные длинными дымовыми трубами, чертили большие углы света по вершинам высоких и мрачных стен тюрьмы. Погода в самом деле была прекрасная.

Мы поднялись по круглой винтообразной лестнице, прошли коридор, потом другой, потом третий, потом отворилась перед нами низенькая дверь. Теплый воздух, растворенный шумом, обдал мое лицо. Это было дыхание толпы в зале асизов. Я вошел.

При моем появлении поднялся шум от оружия и голосов. Скамьи с грохотом задвигались, перегородки затрещали, а в то время как я проходил по длинной зале меж двух масс народа, облицованных солдатами, мне казалось, что я центр, к которому стремятся нити,двигающие все эти лица с разинутыми ртами.

В эту минуту я заметил, что был без кандалов, но не могу припомнить, где и когда мне их сняли.

Вдруг настало глубокое молчание. Я дошел до своего места. В ту же минуту, как прекратился хаос в толпе, он прекратился и в моих мыслях. Я вдруг понял ясно, что до сих пор мне только мерещилось, понял, что настала решительная минута и что я стоял тут для выслушания приговора.

Непостижимое дело. Эта мысль теперь вовсе не ужаснула меня. Окна были отворены; воздух вместе с городским шумом свободно врвался с улицы, зала сияла, как будто свадебная; веселые лучи солнца чертили там и сям светлые четверугольники рам, продолговатые на полу, косые на столе и ломаные по углам стен, а в сверкавших снопах света у окон каждый луч вырезывал в воздухе большую призму золотой пыли.

Судьи в глубине залы смотрели самодовольно — вероятно от радости, что скоро покончат. Лицо президента, мягко освещенное отражением одного стекла, было как-то особенно добро и кротко; молодой асес-

сор почти весело, пощипывая свои брыжи, разговаривал с какой-то молоденькой дамой в розовой шляпке, сидевшей позади него, очевидно по протекции.

Одни присяжные казались бледными и убитыми, но это было, вероятно, от усталости и бессонной ночи. Некоторые из них зевали, и ничто в них не предвещало людей, которые произнесли смертный приговор; на этих добрых мещанских лицах я прочел только большое желание выспаться.

Прямо передо мною окно было совсем отворено. Я слышал, как на набережной смеялись продавцы цветов, а на краю подоконника какая-то хорошенькая желтая травка, выросшая во шве двух плит и вся пронизанная солнечным лучом, играла с ветром.

Каким же образом роковая мысль могла зародиться среди таких грациозных ощущений? Залитый воздухом и солнцем, я не мог думать ни о чем больше, как о свободе; надежда заблестала во мне, как день блистал вокруг меня, и я доверчиво ждал приговора, как ждут освобождения и жизни.

Между тем прошел мой адвокат. Его ждали. Он только что славно и с аппетитом позавтракал. Дошедши до места, он с улыбкой наклонился ко мне:

— Я надеюсь.

— В самом деле? — отвечал я, облегченный и тоже улыбающийся.

— Да, — начал он снова. — Я еще ничего не знаю об их решении, но, вероятно, они отстранят премиацию, и тогда только навсегда в каторжную работу.

— Что вы, милостивый государь? — возразил я с негодованием. — Уж в тысячу раз лучше смерть!

Да, смерть! «А потом, — нашептывал мне какой-то внутренний голос, — чем я рискую, сказав это?»

Когда же видано было, чтоб произносился смертный приговор не в полночь, при факелах, не в черной и мрачной зале какую-нибудь холодной и дождливую зимнею ночью, но в августе, в восемь часов утра, в такой прекрасный день и такими добрыми присяжными... Невозможно!» И глаза мои снова занялись хорошеньким желтым цветочком на солнце.

Вдруг президент, ждавший только адвоката, пригласил меня встать. Солдаты сделали на караул; как будто от электрической искры, все собрание вдруг встало. Какая-то незначащая фигурка, сидевшая за столом пониже трибунала (это я думаю, был грэффе — *секретарь суда*), стала говорить и прочла приговор, произнесенный присяжными в мое отсутствие. Холодный пот выступил из всех моих членов. Я прислонился к стене, чтоб не упасть.

— Адвокат, не имеете ли вы чего-нибудь сказать насчет приложения наказания? — спросил президент.

Я бы, кажется, тут все сказал, но ничего не пришло мне в голову. Язык мой прильнул к гортани.

Защитник встал.

Я понял, что он будет стараться смягчить приговор присяжных и вместо произнесенной ими песни выставить на вид другую, ту самую, которая недавно так меня возмутила.

Видно, негодование во мне было слишком сильно, что проступило сквозь тысячи ощущений, овладевших моими мыслями. Мне захотелось громко повторить ему то, что уже сказал: «Уж в тысячу раз лучше смерть!» — но у меня захватило дыхание и я мог только грубо остановить его за руку и закричать с судорожною силой:

— Нет!

Генеральный прокурор возражал адвокату, а я слышал его с бессмысленным довольством. Потом судьи вышли, потом снова вошли, и президент прочел мне приговор.

— Осужден на смерть! — сказала толпа, и в то время как меня уводили, весь этот народ устремился вслед за мною с шумом разрушающегося здания.

Я же шел опьянелый и обезумевший. Переворот совершился во мне. До смертного приговора я чувствовал, что дышал, жил, трепетал в той же среде, что и другие люди; теперь же я ясно увидел какой-то забор между мною и миром. Ничто уже не являлось мне таким же, как прежде. Широкие светлые окна, яркое солнце, чистое небо, прекрасный цветочек — все стало беловато и бледно, все приняло цвет сава-на. В людях, женщинах, детях, толпившихся на моей дороге, мне вдруг стало казаться что-то призрачное.

Черная и грязная карета с решетками у окон ждала меня у лестницы. Влезая в нее, я случайно взглянул на площадь.

— Приговоренный к смерти! — кричали прохожие, бросаясь к карете. Сквозь туман, который теперь застил мне все предметы, я различил двух молоденьких девушек, следивших за мною жадными глазами.

— Славно, — сказала младшая, хлопая в ладоши. — Посмотрим через шесть недель.

III

Приговорен к смерти!... Ну, так что ж? Мне помнится, я читал в какой-то книге, в которой и было только хорошего, что «...все без исключения люди осу-

ждены на смерть, только с неопределенными сроками». Что же особенно изменилось в моем положении?

С той минуты, как приговор был произнесен надо мной, сколько умерло людей, прочивших себя на долгую жизнь! Сколько предупредило меня молодых, свободных, здоровых, которые, наверное, рассчитывали посмотреть, как упадет голова моя на Гревской площади! Сколько еще таких, которые теперь движутся, дышат чистым воздухом, входят и выходят по своей воле и все-таки отправятся раньше меня!

А потом, и то сказать, уж будто жизнь так привлекательна для меня? И в самом деле, мрак и черный хлеб тюрьмы, порция тощего бульона, налитого из ушата каторжников; толчки и грубости тюремщиков и караульных — я же так утонченно воспитан, — а потом, не видеть человеческого существа, которое удостоило бы меня слова или к которому я бы мог обратиться с словом; ежеминутно трепетать за то, что сам сделаешь, или что мне сделают, — вот почти единственные блага, которые палач у меня отнимет.

Ах! Все-таки это ужасно!

IV

Черная карета привезла меня сюда, в этот отвратительный Бисетр.

Издали это здание, пожалуй, не без некоторого величия: оно вытянулось на вершине холма и на известном расстоянии сохраняет кое-что из своего прежнего великолепия, смотрится королевским замком, но по мере вашего приближения дворец становится мазанкой. Отбитые зубцы оскорбляют глаз.

Какая-то дрянь и бедность тяготеет над этими королевскими фасадами: скажешь, пожалуй, что сте-

ны заразились проказой. Ни оконных переплетов, ни стекол в окнах — одни толстые железные решетки, к которым там и сям прилипло бледное лицо ка-торжного или сумасшедшего.

Вот жизнь вблизи.

V

Не успел я войти, как железные лапы овладели мною. Строгости увеличились: нет ни ножей, ни вилок за обедом; безобразный китель, нечто вроде холщового мешка с дырой, окутал мои руки; за мою жизнь отвечали. Я подал просьбу о пересмотре приговора. Может пройти шесть или семь недель в этих лишних проволочках, а нужно сохранить меня здоровым и невредимым для Гревской площади.

Первые дни со мною обходились с отвратительной сладостью. Взгляды тюремщика чуют эшафот. К счастью, спустя несколько дней привычка взяла свое. Они смешали меня с другими заключенными в общей грубости и перестали обращаться со мною с тою непривычною вежливостью, которая всегда напоминала мне палача. Это еще не все: улучшения простирались дальше. Молодость, сговорчивость, внимательность тюремного священника, а главное, несколько латинских слов, с которыми я обратился к смотрителю и которых он не понял, доставили мне позволение раз в неделю гулять с другими заключенными и сняли с меня китель, в котором я был парализован. После долгих колебаний мне даже принесли чернил, бумаги, перьев и ночник.

Каждое воскресенье, после обедни, в известный час меня выпускают на тюремный двор. Там я разговариваю с заключенными. Нельзя же! Ребята они,

впрочем, предобрые. Рассказывают мне свои проделки: волосы становятся у меня дыбом, но я знаю, что они хвастают. Учат меня говорить по-ихнему («колотить по наковальне», как они выражаются). Это целый язык, наклепленный на общепринятый, нечто вроде отвратительного нароста, как, например, веред. Иногда вдруг странная энергия, ужасающая картинность: варенье на сковороде (тут — кровь на дороге), жениться на вдове (быть повешенным), как будто веревка на виселице вдова всех повешенных. Голова вора имеет два названия: «сорбонна», когда выдумывает, обсуждает, зачинает преступление; «пень», когда палач ее отсекает. А то и водевильный склад: тростниковый кашемир (корзина тряпичника), врун (язык), а потом везде, на всяком шагу, слова странные, таинственные, гадкие и грязные, взятые бог знает откуда: le taule (палач), la sône (смерть) la placarde (место казни). Ящеры и пауки какие-то. Когда слышишь этот язык, то воображаешь нечто грязное, запыленное — нечто вроде самого отвратительного отрепья, которое вдруг стали бы перетрагивать перед вами.

По крайней мере эти люди меня жалеют. Они одни. Тюремщики, номерные, ключари (я не сержусь на них) говорят и смеются и считают меня не более чем вещью.

VI

Я вот что выдумал.

Мне даны средства писать; почему ж бы и в самом деле не присесть за бумагу? Но что писать? Запертый в четырех стенах, голых и холодных, без свободы для ног, без неба для глаз, машинально день-деньской за-